

Б. Фондан

РАЗГОВОРЫ С ЛЬВОМ ШЕСТОВЫМ

Шестов: — Люблю ли я писать? Ненавижу. Мне случалось бросать работу на полуфразе, так бывало противно.

Шестов: — Не люблю писать. И вот доказательство: *чисто случайно* в 27 лет я начал заниматься этим делом. Если бы, для заработка, я стал адвокатом, я никогда бы ничего не писал. Никогда это мне не приходило в голову. Писание для меня не работа, а страдание. Мне приходится переламывать себя, привязывать к столу, тороплюсь закончить и никогда не отделяю написанное. Мне неведома радость писания. Это потерянное время. Думается мне, что книги мои вызывают в читателе ту же скуку и тоску, которые я сам испытываю, когда пишу. Так как я не забочусь о стиле, он, вероятно, весьма среднего качества. И я был очень изумлен, когда в Берне один русский студент в первый раз мне сказал про «Толстого и Нитше», что непозволительно писать о столь серьезном вопросе столь хо-рошим слогом. Я был озадачен... Даже чтение у меня машинально: я регистрирую, не углубляясь. И только позже приходит на память то, что я прочитал, и тогда я начинаю раздумывать.

Шестов: — Гляжу я на слушателей моих курсов. Они надеются, что я облегчу им трудную работу, снабжу их легкими решениями. Но для меня самого эти решения с каждым годом становятся труднее... Как-то один русский философ пришел ко мне и спросил: «А теперь что делать?» Я ответил: «Теперь ваша очередь меня убедить в том, в чем я пытался убедить вас».

Шестов затрагивает философские вопросы без наведения его на эти темы. Но приходится настаивать, чтобы он заговорил о самом себе, о том, как он начал писать, о его воспоминаниях.

— Мое призвание к писательству и философии проявилось довольно поздно. Мне было уже 27 лет, когда я опубликовал книгу «Шекспир и его критик Брандес» (до этого я написал только диссертацию на доктора права, темой которой был новый рабочий закон). В это время я читал Канта, Шекспира и Библию. Я сейчас почувствовал себя противником Канта. Шекспир же меня перевернул так, что я потерял сон. И вот однажды я прочитал в одном русском журнале не-

сколько глав Брандеса, в переводе, посвященных Шекспиру. Я пришел в бешенство. Несколько позже, находясь в Европе, я читал Нитше. Я чувствовал, что в нем мир совершенно опрокидывался. Я не могу передать впечатление, которое он произвел на меня. И вот я вижу в витрине книгу Брандеса о Шекспире. Я ее покупаю, читаю, и гнев снова распаляется во мне. Брандес был тогда крупной личностью. Он открыл Нитше, он поддерживал связь со Стюартом Миллем и т.д. Но это был род «под Тэна», маленький Тэн, конечно, не лишенный некоторого таланта. Но читал он, не углубляясь, и скользил по поверхности вещей. «Мы чувствуем с Гамлетом», «испытываем с Шекспиром» и т.д. Словом, Шекспир не мешал ему спать.

— Что вы говорили в вашей книге?

— Я в ней еще стоял на точке зрения морали, которую оставил несколько времени спустя. Но эта точка зрения достигла уже того градуса, когда можно было предвидеть, «что рамы начнут рушиться», вы помните строки: «время сорвалось с петель». Но тогда я все же пытался водворить время «на его петли». И только позже я понял, что надо оставить время вне петель. Пусть оно разлетится в куски. На это надоумил меня Брандес, он был далек от такой проблемы.

— Когда, после этой книги, я захотел возвратиться к Нитше, и особенно к его биографии, я понял, что с моими моральными проблемами я никогда бы не смог к нему приступить. Моральная проблема не выдерживает столкновения с Нитше. Для Брандеса трагедия Шекспира была развлечением, наслаждением искусством, и против такой установки я был вынужден защититься эпиграфом: «Я ненавижу лодырей!»

— А до этого вы ничего не писали, кроме вашей тезы?

— Да, несколько рассказов. Но они были очень плохи.

— А ваша теза?

— Я окончил юридический факультет. Мне было 24 года. На выпускных экзаменах я получил в среднем четыре с плюсом. Чтобы стать кандидатом права, я написал диссертацию на тему о новых рабочих законах, которые были опубликованы и по поводу которых начали появляться рапорты инспекторов труда. Моя диссертация прошла в Киевском университете, и для того, чтобы ее напечатать, я должен был представить ее в Московский цензурный совет. Но докладчик Совета дал заключение, что, если моя диссертация появится, она послужит сигналом к революции. Чтобы защитить ее, я поехал в Москву. Один из членов Совета мне рекомендовал затребовать рукопись для изменения в духе, указанном цензурой. Но докладчик убедил Совет, что никакие исправления не могут изменить революционной сути книги. Рукописи мне не вернули. Другая копия находилась в университете. Мои черновики исчезли. Книга вообще не появилась... В ней шла речь о крайней нищете русского крестьянства и т.д.

— Вы изучали философию систематически?

— Никогда. Никогда я не посещал лекций. Меньше всего на свете я воображал себя философом. Кроме того, когда я начал свою литературную работу этюдом о Шекспире, затем о Толстом, о Чехове, меня принимали за литературного критика, да и я сам отчасти так думал.

— Вы — самоучка?

— Да. Как Мейерсон. Но должен сказать, что Мейерсон читает страшно много, он все прочел. Я же, наоборот, — я изучаю. Приступив к автору, скажем к Канту, к Нитше, я долго изучал все, что с ним связано.

— Мне было 30 лет, когда я познакомился с Бердяевым. Ему было тогда около 24. Мы вместе встречали Новый год — 1900-й. В эти годы, выпивши немного, я становился задирой. Мои друзья знали эту слабость и всегда находили повод меня подпоить. В этот вечер Бердяев сидел со мной рядом. Я дразнил его невероятно, вызывая взрывы общего хохота. Но когда мой хмель прошел, я сообразил, что Бердяев, вероятно, обижен. Я извинился перед ним и предложил выпить «на ты». Кроме того, я просил его, в доказательство, что он меня простил, зайти ко мне завтра. Он пришел. Так началась наша дружба. Никогда мы не были согласны. Мы всегда сражались, кричали, он всегда упрекал меня в *шестовизации* авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Киркегард никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он приписывает мне слишком большую честь, и если я действительно изобрел то, что утверждаю, то я должен раздуться от тщеславия. В глазах моей жены Бердяев был образцом: поступай, как Бердяев. Бердяев не сделал бы этого. Бердяев говорит, что вот это ты можешь есть и пить, а этого не должен. Достаточно было бы мне уговориться с Бердяевым, чтобы он сказал, что кофе метафизично, и моя жена разрешила бы мне пить кофе.

Госпожа Шестова, присутствующая при этом разговоре, добродушно смеется. Я обращаюсь к ней: — По секрету, я предпочитаю философию Шестова — бердяевской.

— Я тоже, — говорит она. На этот раз смеется Шестов. Она же добавляет: — Каждый раз, когда Бердяев к нам приходит, начинаются невероятные споры. Оба становятся красными. И так — 30 лет.

Шестов: — Жаль, что он так сдавлен немецкой философией. Только потому, что я не изучал философии в университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которых никто не цитирует, и выкапываю заброшенные отрывки. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только то, на что наука поставила свою печать. Вот почему все тексты я привожу в оригинале — латинском или греческом. Чтобы не сказали, что я их «шестовизирую».

Шестов (за столом, в шутовском тоне): — Вы знаете, какой сегодня день?! Вечером празднуется семидесятилетие Мережковского.

— Кстати, — говорю я, — мне сказали, что он когда-то написал первоклассную книгу о Толстом...

— Это верно. О Толстом и Достоевском. Книга чисто нитшеанская, подражающая Нитше. Тогда я тоже выпустил книгу «Добро в учении графа Л. Толстого и Ф. Нитше». Я безуспешно искал издателя для моей книги «Достоевский и Нитше» («Философия трагедии»). И вот однажды я получаю письмо от Дягиле-

ва, который до своих оперных и балетных предприятий издавал в России журнал по искусству. Это письмо обошло разные города, следуя за мной по Европе, прежде чем попало ко мне. Кажется, в Швейцарии Дягилев, прочитав моего «Толстого», предлагал мне сотрудничать в журнале. В это время в моем портфеле уже находилась рукопись «Философия трагедии», которую я и послал ему. Дягилев пришел в восторг. Я запросил у него 50 рублей аванса, которые он тут же мне выслал. Конечно, в то время я был богаче, чем сейчас, но все же деньги эти мне пригодились. Но он меня предупреждал, что вследствие печатания двух книг Мережковского, которые он также принял, моя появится не ранее января, а мы переписывались в мае. Он, кроме того, просил меня, если возможно, дать отзыв о 1-м томе Мережковского, уже появившемся. Я дал отзыв положительный, без указаний на недостатки. Надо сказать, что Мережковский читал моего «Толстого» как раз в то время, когда он заканчивал свою первую книгу. Он был поражен моим «Нужно искать Бога» и, делая *сальто-мортале*, пытался предоставить место Богу у себя. Это Бердяев, которому было тогда 27 лет, сказал мне: «Он у тебя заимствовал Бога». Во второй книге Мережковского эта идея стала уже центральной. Он склонял слово Бог во всех падежах и временах. Он говорил о Боге, как Нитше говорил об Антихристе, громким голосом, с криками, гневом и т.д. Нитше был уже полубезумным, когда писал «Антихриста». Но и в безумном Нитше было еще что-то от Нитше. Мережковский же не был Карузо. Это был только небольшой тенор.

— Приехав в Москву, я сделал визит Дягилеву. Он принял меня весьма любезно и тут же вручил мне вторую книгу Мережковского, напечатанную в его журнале. Я откровенно высказал свое мнение. Он был озадачен, но все же просил дать отзыв, что я и сделал. Мережковский немедленно прилетел в редакцию и устроил истерический скандал.

— Я позабыл сказать, что до того я встретил Мережковского на одном вечере. Он просил меня зайти к нему. Я пришел. «Сегодня вечером, — сказал он, — приемный день у Розанова. Хотите пойти со мною?» Я согласился. И вот мы у Розанова. Он меня представляет всем, но никто еще обо мне не слышал. Мережковский разгневался: «Как! вы не знаете лучшего из наших авторов, которые писали о Нитше и т.д.» Это было после моего первого отзыва. Но после второго он обозлился надолго. Я высказал слишком много правды. Но ведь он сверх всего взвинтил меня своим «Богом» и говорил, что Толстой заслуживает пощечины за то, что сказал... (Фондан не может указать, что именно)... Этот отзыв первоначально составлял часть моей книги «Апофеоз беспочвенности». Я исключил его во французском издании. К чему! Ведь мы же оба писатели и оба в изгнании... Возможно, что мой отзыв мог бы ему здесь повредить...

— Мы с ним никогда не виделись. Как-то встречаю его с супругой на улице: «Как поживаете» и т.д. ... Затем он спрашивает: — А вы собираетесь вернуться в Россию? — Как? Я, который ругал большевизм... — Нет, — говорит он, — я думаю не о Советах. Но если их режим падет... — И вы на это еще надеетесь? — спрашиваю я. — Но политика Лавалы ведь прогитлеровская. Гитлер вступит в Россию и свергнет большевиков!

— Ну, — говорю, — как бы мало я ни любил Сталина, Гитлер еще меньше мне по душе. Такое разрешение вопроса удовольствия мне не доставило бы... Мережковский пришел в ярость, и мы расстались.

— Вот почему я не пошел сегодня вечером на его юбилей, хотя и получил приглашение. Я даже не поздравил его письменно.

Я говорю Шестову о Международном конгрессе писателей и об Алексее Толстом, который утверждал, что идея смерти — только буржуазная одержимость.

— Толстой, — говорит Шестов, — превосходный писатель, но он никогда не проявлял склонности к мышлению. Помнится, однажды в России мы были приглашены к Гершензону, известному историку литературы. Гершензон и Толстой сидели на одном конце стола, я же с Бердяевым и Вяч. Ивановым — на другом. Гершензон был неосуществившимся профессором, он любил поучать. В какой-то момент среди нас воцарилось молчание и стал слышен разговор: Гершензон говорил Толстому, что тот очень талантлив, однако недостаточно мыслит. — А вы полагаете, что необходимо мыслить? — спросил Толстой, проводя рукою по лбу, со скучающим видом. Тогда я ему откликнулся: — Если вы мне поверите, вы получите отпущение мысли: пишете, что вы чувствуете и как вы чувствуете.

Тогда Толстой перекрестился: — Вы полагаете, что я могу не мыслить? Спасибо!

Шестов: — Я видел ужасы при царях, но видел и людей непреклонных, от важных, не боявшихся смерти. Страшно не то, что Сталин убивает людей, — страшно, что он убивает в них все вплоть до смелости. Хуже тюрьмы — обращать людей в трусов.

Шестов встретил Гуссерля в Амстердаме, где чествовали последнего.

Гуссерль Шестову: — Почему вы меня атакуете? (во «Власти ключей»). Вы же отлично поняли, что, когда мне приходилось всходить на кафедру, я чувствую, что мои руки пусты, что я не вижу, чему я должен поучать, за что зацепиться, и мне приходится наново открывать философию по крошкам... О! Какой ценой мне было дано найти первые очевидности.

Шестов Гуссерлю: — Никто не знает этого лучше меня. Но и я никогда бы не начал борьбу с очевидностями, если бы не был спровоцирован вашей манерой их ставить, даже вынужден... Это ваши автономные очевидности, вне разума и вне человека, истинные даже тогда, если бы человек не существовал, и вызвали меня на борьбу... И вот если в ином мире мне будет предъявлено обвинение в том, что я вступил в борьбу с очевидностями, я непременно сделаю вас ответственным! Вы будете гореть вместо меня!

— Гуссерль — это единственный человек в мире, — говорит Шестов, — который, по моему представлению, не обязан понимать поднимаемых мною вопросов. И один из тех редких людей, которые их поняли, больше того, которые услышали эти вопросы...

Шестов: — Пишут, что я «мистик», чтобы избавиться от меня, и даже прибавляют «великий», дабы все образовалось. Ведь после этого говорить не о чем... Я очень не люблю, когда меня именуют мистиком, да еще «великим». Это значит: вы поймете тут то, что сможете, и однако, нет никакой необходимости что-либо тут понимать. Мистик — это все объясняет, ибо это ничего не значит... Под мистикой разумеется, что вопросы, поставленные в ней, находятся вне философии и не стоит затруднять себя их разрешением... Вы помните, конечно, Ренана, который сказал, что по сравнению с пророками мы пигмеи. Однако в глазах того же Ренана пророки были невеждами, простолюдинами, малейшая доля истины им была чужда. В то время как он, Ренан, был ученым, настоящим ученым... Почему же тогда он, Ренан, не является также пигмеем по сравнению с невежественными, темными людьми? Что же особенного было в этих незнающих людях, что их выделяло, за что их так возносят — гораздо выше, чем самого Ренана? Чтобы несколько укрыться, Ренан, который не может приписать им открытия истины, резервированного только для ученых, убегает во всеуспокаивающее слово: «мистики»! Оно все объясняет, ибо ничего не выражает. Ведь если истина дана нам — ученым, а мистики обладают Бог весть чем, то почему же мы — ученые — пигмеи по сравнению с ними?

Шестов: — Вы читали, конечно, в воспоминаниях Горького, что думал Толстой о моей книге «Добро в учении гр. Толстого и Нитше». По-моему, Толстой прочел только первые главы, относящиеся к нему. Нитше его не интересовал. Иначе он не мог бы сказать: «Шестов — еврей... как же еврей может отойти от Бога?» Ведь в конце книги я прямо пишу: — нужно искать Бога.

Шестов: — Если бы Христос пришел в наши дни, Он был бы для Гегеля только бедным евреем, которого, правда, неплохо почитать и т.д. ... Но как «историческому событию», которому 2000 лет, Гегель не может отказать Ему в аудиенции! Все-таки Христос — гений как-никак. На том же основании официальный Университет разрешает себе говорить о Бёме, о Киркегарде. Но если бы они были только современниками...

Однажды вечером говорили о Фрейде, которому я ставил в упрек «научный оптимизм» в духе Геккеля, Бюхнера, Дарвина... По этому поводу Шестов рассказывал, что он послал свою «Власть ключей» Фрейду. Тот, перелистывая эту книгу, наткнулся на место, где Шестов довольно свободно отзывается о Дарвине. Фрейд отбросил недостойную книгу и больше не брал ее в руки. Однако он не без удовольствия прочел от начала до конца «Гефсиманскую ночь».

После Съезда писателей в СССР. О Горьком после его последних деклараций о Достоевском:

— Теперь-то он осмеливается. Он рад отомстить Достоевскому за сорок лет непонимания его. Тридцать лет он думал то же самое, но не смел говорить. Тогда он был труслив, принижен сознанием своего невежества. Однажды кто-то из мо-

их друзей просил переслать Горькому рукопись одного писателя, бедного. Я послал. Горький ответил и просил моих книг. Я исполнил просьбу. Горький снова написал, в тоне униженном и уклончивом, свидетельствующем, что он боится обнаружить свое невежество. Я потерял это письмо, как многое другое, во время войны. Это писатель с определенным талантом, бесспорно, но и только. Можно ли сравнивать его с Чеховым! Он не понял Достоевского, не понял Нитше. Он думал, что вся суть в физической силе, давать затрещины и т.д. ...

Шестов о Ремизове: — Часто это первоклассный писатель. Но так же часто публикует рассказы действительно слабые... Верно, что слабые рассказы у него охотнее берут и платят за них, в то время как, например, «Смерть Авраама», которую, я думаю, он написал по болгарской рукописи XIV века, он не может пристроить.

Шестов в письме: — Вот я и в Иерусалиме. Уже говорил здесь на немецком языке. Теперь буду говорить по-русски. Но Палестина, должен вам признаться, а я уже много видел, превыше всех слов. Сегодня я был в Гефсиманском саду... Расскажу вам все, когда буду в Париже...

Шестов: — То, что теперь происходит в Австрии, уже происходило... тогда, при Ленине... Старые евреи, раввины были в тюрьме. Хватали каждого, кого подозревали, что он имеет деньги. К счастью, я был «персона грата». Кое-кто из вождей были моими читателями... Они считали, что мы между собою согласны, ибо я был революционером в философии, они — в политике. Они не теряли надежды меня убедить. Но ужасы, которые я видел... Идя на лекции в университет, я избегал людных улиц, пробирался переулками.

— А как же вы выбрались из России? Как они вас выпустили?

— Белые пришли. Я звал одного батюшку, который был левым социалистом, а потом стал белым. Он выдал мне бумаги, в которых значилось, что я на что-то уполномочен, и они послужили мне пропуском в Крым, а дальше — в Константинополь. Но если бы я показал свой паспорт, в котором значилось — вероисповедания иудейского, — я бы пропал...

Шестов: — Есть значительная разница между Сталиным и царизмом в пользу последнего. Разумеется, и тогда существовала цензура, и тогда некоторые вещи запрещались. Но никогда им не приходило в голову заставлять нас писать о том-то или думать так-то. Мы были по крайней мере «свободны» не говорить...

В Берлине, куда Шестов приехал, чтобы сделать доклад в Обществе имени Нитше, вечером он оказался за столом соседом Эйнштейна. Он знал его только по имени, мало что понимая в математической физике. Эйнштейн же имя Шестова услышал впервые на этом вечере: большой русский философ, друг Гуссерля и т.д. Сидя рядом, Эйнштейн просил Шестова, если возможно, объяснить в нескольких словах философию Гуссерля.

— Но, — ответил Шестов, — для этого потребуется час или полтора.

— Я располагаю временем, — сказал Эйнштейн.

— С чего же начать? Скажем, вы сегодня встретились с Ньютоном, на этом или на том свете, — начал Шестов, — о чем бы вы с ним заговорили? Об очевидности, о проверке, об истине или скорее о массе света, о кривизне земли и т.д. ...

— Конечно, о последнем, — согласился Эйнштейн.

— Так, — продолжал Шестов, — а философ спросил бы Ньютона, что такое истина, бессмертна ли душа, есть ли Бог... Но вы, вы считаете, что все это вещи известные...

— Без сомнения.

— Так вот, — повторил Шестов, — эти вещи, вам столь хорошо известные, философу известны гораздо менее. Он ставит все разрешенные вопросы так, как будто они не были разрешены.

Он попытался далее говорить с Эйнштейном об очевидности Гуссерля, коснулся своей борьбы с очевидностями... Но Эйнштейн уже не следил за его мыслью. Они встретились еще раз, и Эйнштейн просил Шестова продолжать объяснения. Он уже ничего не помнил из того, что ему было сказано в первый раз.

Шестов: — Думаю о «Братьях Карамазовых»... Странно! Достоевский, так хорошо нарисовавший Ипполита, Инквизитора и других, когда подходит к старцу Зосиме, утрачивает свой дар изобразительности. Ему нечего сказать. Он извещает, что эта книга только первый том, где он пока описывает плохо, но во втором он все поставит на место. Во время создания «Карамазовых» он уже был знаком с Соловьевым, часто бывал у наследника, будущего Александра III, у прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Последний, прочитав «Карамазовых», сказал, что невозможно вылечить вторым томом болезнь, которую Достоевский открыл в первом томе. Он был прав.

Шестов: — В 1919 г. еще можно было говорить в России. Были еще две свободные газеты. Одна из них устроила анкету среди писателей, о режиме. Я ответил: «В нашей былой революционной партии мы требовали свободы и хлеба. Но вот что надо знать сегодня: там, где нет свободы, нет больше хлеба».

Шестов скончался. После полудня мы все собрались в клинике. Он лежит на постели, мирный, успокоившийся, лицо тихое, красивое. Его жена рассказывает, что вчера вечером он чувствовал себя еще достаточно хорошо. Сегодня утром, до того как она пришла, сиделка пришла поставить термометр. Он повернулся. И скончался. Сердце. «Он так вас любил!», — и она плачет. А потом показывает на маленький столик у кровати: лежит открытая Библия (по-русски) и «Система Веданты» в переводе Деуссена. Книга открыта на главе *Брама, как Радость*: — «Не мрачная аскеза знаменует Мудреца Браммы, но радостное, полное надежды сознание единства с Богом». Мы вышли. Дочь Шестовых, Татьяна, нам рассказала, что не было никакой надежды после того, как исследование показало, что он уже год страдает старческим туберкулезом. Похороны состоятся на Новом кладбище, Бульвар-Биянкур, во вторник, в 9 утра.